

Сергей Донатович Довлатов

СОЛО НА УНДЕРБУДЕ.

СОЛО НА ИВМ

Соло на ундервуде

Вышла как-то мать на улицу. Льет дождь. Зонтик остался дома. Бредет она по лужам. Вдруг навстречу ей алкаш, тоже без зонтика. Кричит: – Мамаша! Мамаша! Чего это они все под зонтиками, как дикари?!

Соседский мальчик ездил летом отдыхать на Украину. Вернулся домой. Мы его спросили: – Выучил украинский язык?

- Выучил.
- Скажи что-нибудь по-украински.
- Например, мерси.

Соседский мальчик:

– Из овощей я больше всего люблю пельмени...

Выносил я как-то мусорный бак. Замерз. Опрокинул его метра за три до помойки. Минут через пятнадцать к нам явился дворник. Устроил скандал. Выяснилось, что он по мусору легко устанавливает жильца и номер квартиры.

В любой работе есть место творчеству.

- Напечатали рассказ?
- Напечатали.
- Деньги получил?
- Получил.

- Хорошие?
- Хорошие. Но мало.

Гимн и позывные КГБ:

«Родина слышит, родина знает...»

Когда мой брат решил жениться, его отец сказал невесте:

– Кира! Хочешь, чтобы я тебя любил и уважал? В дом меня не приглашай. И сама ко мне в гости не приходи.

Отец моего двоюродного брата говорил:

– За Борю я относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме!

Брат спросил меня:

– Ты пишешь роман?
– Пишу, – ответил я.
– И я пишу, – сказал мой брат, – махнем не глядя?

Проснулись мы с братом у его знакомой. Накануне очень много выпили. Состояние ужасающее.

Вижу, брат мой поднялся, умылся. Стоит у зеркала, причесывается.

Я говорю:

- Неужели ты хорошо себя чувствуешь?
- Я себя ужасно чувствую.

– Но ты прихорашиваешься!
– Я не прихорашиваюсь, – ответил мой брат. – Я совсем не прихорашиваюсь. Я себя... мумифицирую.

Жена моего брата говорила:

– Боря в ужасном положении. Оба вы пьяницы. Но твое положение лучше. Ты можешь день пить. Три дня. Неделю. Затем ты месяц не пьешь. Занимаешься делами, пишешь. У Бори все по-другому. Он пьет ежедневно, и, кроме того, у него бывают запои.

Диссидентский указ:

“В целях усиления нашей диссидентской бдительности именовать журнал «Континент» – журналом «КонтинГент»!

Хорошо бы начать свою пьесу так. Ведущий произносит:

– Был ясный, теплый, солнечный...

Пауза.

– Предпоследний день...

И наконец, отчетливо:

– Помпеи!

Атмосфера, как в приемной у дантиста.

Я болел три дня, и это прекрасно отразилось на моем здоровье.

Убийца пожелал остаться неизвестным.

– Как вас постричь?

– Молча.

«Можно ли носом стирать карандашные записи?»

Выпил накануне. Ощущение – как будто проглотил заячью шапку с ушами.

В советских газетах только опечатки правдивы.

«Гавнокомандующий». «Большевицкая каторга» (вместо «когорта»). «Коммунисты осуждают решение партии» (вместо – «обсуждают»). И так далее.

У Ахматовой когда-то вышел сборник. Миша Юпп повстречал ее и говорит:

– Недавно прочел вашу книгу.

Затем добавил:

– Многое понравилось.

Это «многое понравилось» Ахматова, говорят, вспоминала до смерти.

Моя жена говорит:

– Комплексы есть у всех. Ты не исключение. У тебя комплекс моей неполноценности.

Когда шахтер Стаханов отличился, его привезли в Москву. Наградили орденом. Решили показать ему Большой театр. Сопровождал его знаменитый режиссер Немирович-Данченко. В этот день шел балет «Пламя Парижа». Началось представление.

Через три минуты Стаханов задал вопрос Немировичу-Данченко:

— Батя, почему молчат?

Немирович-Данченко ответил:

— Это же балет.

— Ну и что?

— Это такой жанр искусства, где мысли выражаются средствами пластики.

Стаханов огорчился:

— Так и будут всю дорогу молчать?

— Да, — ответил режиссер.

— Стало быть, ни единого звука?

— Ни единого.

А надо вам сказать, что «Пламя Парижа» — балет уникальный. Там в одном месте поют. Если не ошибаюсь, «Марсельезу». И вот Стаханов в очередной раз спросил: — Значит, ни слова?

Немирович-Данченко в очередной раз кивнул:

— Ни слова.

И тут артисты запели.

Стаханов усмехнулся, поглядел на режиссера и говорит:

— Значит, оба мы, батя, в театре первый раз?!

Как известно, Лаврентию Берии поставляли на дом миловидных старшеклассниц. Затем его шофер вручал очередной жертве букет цветов. И отвозил ее домой. Такова была установленная церемония. Вдруг одна из девиц проявила строптивость. Она стала вырываться, царапаться. Короче, устояла и не поддалась обаянию министра внутренних дел. Берия сказал ей: – Можешь уходить.

Барышня спустилась вниз по лестнице. Шофер, не ожидая такого поворота событий, вручил ей заготовленный букет. Девица, чуть успокоившись, обратилась к стоящему на балконе министру: – Ну вот, Лаврентий Павлович! Ваш шофер оказался любезнее вас. Он подарил мне букет цветов.

Берия усмехнулся и вяло произнес:

– Ты ошибаешься. Это не букет. Это – венок.

Хармс говорил:

– Телефон у меня простой – 32-08. Запоминается легко: тридцать два зуба и восемь пальцев.

Плохие стихи все-таки лучше хорошей газетной заметки.

Дело было на лекции профессора

Макогоненко. Саша Фомушкин увидел, что Макогоненко принимает таблетку. Он взглянул на профессора с жалостью и говорит: – Георгий Пантелеймонович, а вдруг они не тают? Вдруг они так и лежат на дне желудка? Год, два, три, а кучка все растет, растет...

Профессору стало дурно.

Расположились мы с Фомушкиным на площади Искусств. Около бронзового Пушкина толпилась группа азиатов. Они были в халатах, тубетейках. Что-то обсуждали, жестикулировали. Фомушкин взглянул и говорит: – Приедут к себе на юг, знакомым хвастать будут: «Ильича видели!»

Сдавал как-то раз Фомушкин экзамен в университете.

– Безобразно отвечаете, – сказала преподавательница, – два!

Фомушкин шагнул к ней и тихо говорит:

– Поставьте тройку.

Прибыл к нам в охрану сержант из Москвы. Культурный человек, и даже сын писателя. И было ему в нашей хамской среде довольно неуютно. А ему как раз хотелось выглядеть «своим». И вот он постоянно матерился, чтобы заслужить доверие. И как-то раз прикрикнул на ефрейтора Гаенко: – Ты что, ебнулся?!

Именно так поставив ударение — «ебнулся».

Гаенко сказал в ответ:

— Товарищ сержант, вы не правы. По-русски можно сказать — ёбнулся, ебанулся или наебнулся. А «ебнулся» — такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет!

Приехал к нам строевой офицер из штаба части. Выгнал нас из казармы. Заставил построиться. И начали мы выполнять ружейные приемы.

Происходило это в Коми. День был морозный, градусов сорок.

Подошла моя очередь. «К ноге!» «На плечо!» «Смирно, вольно...» И так далее.

И вот офицер говорит, шепелявя:

— Не визу теткости, Довлатов! Не визу молодцеватости! Не визу! Не осусяю!

А холод страшный. Шинели не греют. Солдаты мерзнут, топчутся.

А офицер свое:

— Не визу теткости! Не визу молодцеватости!..

И тогда выходит хулиган Петров. Делает шаг вперед из строя. И звонко произносит в морозной тишине: — Товарищ майор! Выплюнь сначала хрен изо рта!

Петрову дали восемь суток гауптвахты.

На Иоссере судили рядового Бабичева. Судили

его за пьяную драку. В роте было назначено комсомольское собрание. От его решения в какой-то мере зависела дальнейшая судьба подсудимого. Если собрание осудит Бабичева, дело передается в трибунал. Если же хулигана возьмут на поруки, тем дело может и кончиться.

В ночь перед собранием Бабичев разбудил меня и зашептал:

— Все, погибаю, испекся. Придумай что-нибудь.

— Что?

— Что угодно. Ты мужик культурный, образованный.

— Ладно, попытаюсь.

— С меня ящик водки...

Толкаю его в бок через полчаса:

— Вот слушай. Начнется собрание. Я тебя спрошу: «Есть у вас, Бабичев, гражданская профессия?» Ты ответишь: «Нет». Я скажу: «Так что ему после армии — воровать?» А дальше все зашумят, поскольку это большая тема. Может, в этом шуме тебя и оправдают...

— Слушай, — просит Бабичев, — ты напиши мне, что говорить. А то я собьюсь.

Достаю лист бумаги. Пишу ему крупными буквами: «Нет».

— И это все?

— Все. Я задаю вопрос, ты отвечаешь — «нет».

— Напиши мне, что ты сам будешь говорить. А

то я все перепутаю.

Короче, просидели мы всю ночь. К утру сценарий был закончен.

Начинается комсомольское собрание. Встает подполковник Яковенко и говорит:

— Ну, Бабичев, объясните, что там у вас произошло?

Смотрю, Бабичев ищет эту фразу в шпаргалке. Лихорадочно читает сценарий. А подполковник свое: — Объясните же, что там случилось? Ну?

Бабичев еще раз заглянул в сценарий. Затем растерянно посмотрел на меня и обратился к Яковенко: — А хули тебе, козлу, объяснять?!

В результате он получил три года дисциплинарного батальона.

В присутствии Алешковского какой-то старый большевик рассказывал:

— Шла гражданская война на Украине. Отбросили мы белых к Днепру. Распрягли коней. Решили отдохнуть. Сажу я у костра с ординарцем Васей. Говорю ему: «Эх, Вася! Вот разобьем беляков, построим социализм — хорошая жизнь лет через двадцать наступит! Дожить бы!.. »

Алешковский за него докончил:

— И наступил через двадцать лет — тридцать восьмой год!

Алешковский говорил:

— А как еще может пахнуть в стране?! Ведь главный труп еще не захоронен!

Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро — закрыто. Кованая решетка от земли до потолка. А за решеткой прогуливается милиционер.

Иосиф подошел ближе. Затем довольно громко крикнул:

— Э!

Милиционер насторожился, обернулся.

— Чудесная картина, — сказал ему Иосиф, — впервые наблюдаю мента за решеткой!

Пришел однажды к Бродскому с фокстерьершей Глашей. Он назначил мне свидание в 10.00. На пороге Иосиф сказал: — Вы явились ровно к десяти, что нормально. А вот как умудрилась собачка не опоздать?!

Сидели мы как-то втроем — Рейн, Бродский и я. Рейн, между прочим, сказал:

— Точность — это великая сила. Педантической точностью славились Зоценко, Блок, Заболоцкий. При нашей единственной встрече Заболоцкий сказал мне: «Женя, знаете, чем я победил советскую власть? Я победил ее своей точностью!»

Бродский перебил его:

— Это в том смысле, что просидел

шестнадцать лет от звонка до звонка?!

Сидел у меня Веселов, бывший летчик. Темпераментно рассказывал об авиации. В частности, он говорил: – Самолеты преодолевают верхнюю облачность... Ласточки попадают в сопла... Самолеты падают... Гибнут люди... Ласточки попадают в сопла... Глохнут моторы... Самолеты разбиваются... Гибнут люди...

А напротив сидел поэт Евгений Рейн.

– Самолеты разбиваются, – продолжал Веселов, – гибнут люди...

– А ласточки что – выживают?! – обиженно крикнул Рейн.

Как-то пили мы с Иваном Федоровичем. Было много водки и портвейна. Иван Федорович благодарно возбудился. И ласково спросил поэта Рейна: – Вы какой, извиняюсь, будете нации?

– Еврейской, – ответил Рейн, – а вы, пардон, какой нации будете?

Иван Федорович дружелюбно ответил:

– А я буду русской... еврейской нации.

Женя Рейн оказался в Москве. Поселился в чьей-то отдельной квартире. Пригласил молодую женщину в гости. Сказал: – У меня есть бутылка водки и 400 гр. сервелата.

Женщина обещала зайти. Спросила адрес.

Рейн продиктовал и добавил:

– Я тебя увижу из окна.

Стал взволнованно ждать. Молодая женщина направилась к нему. Повстречала Сергея Вольфа. «Пойдем, – говорит ему, – со мной. У Рейна есть бутылка водки и 400 гр. сервелата». Пошли.

Рейн увидел их в окно. Страшно рассердился. Бросился к столу. Выпил бутылку спиртного. Съел 400 гр. твердокопченой колбасы. Это он успел сделать пока, пока гости ехали в лифте.

У Игоря Ефимова была вечеринка. Собралось 15 человек гостей. Неожиданно в комнату зашла дочь Ефимовых – семилетняя Лена. Рейн сказал: – Вот кого мне жаль, так это Леночку. Ей когда-то нужно будет ухаживать за пятнадцатью могилами.

В детскую редакцию зашел поэт Семен Ботвинник. Рассказал, как он познакомился с нетребовательной дамой. Досадовал, что не воспользовался противозачаточным средством.

Оставил первомайские стихи. Финал их такой:

*“...Адмиралтейская игла
Сегодня, дети, без чехла!...”*

Как вы думаете, это – подсознание?

Хрущев принимал литераторов в Кремле. Он выпил и стал многословным. В частности, он сказал: – Недавно была свадьба в доме товарища

Полянского. Молодым подарили абстрактную картину. Я такого искусства не понимаю...

Затем он сказал:

– Как уже говорилось, в доме товарища Полянского была недавно свадьба. Все танцевали этот... как его?... Шейк. По-моему, это ужас...

Наконец он сказал:

– Как вы знаете, товарищ Полянский недавно сына женил. И на свадьбу явились эти... как их там?.. Барды. Пели что-то совершенно невозможное...

Тут поднялась Ольга Бергольц и громко сказала:

– Никита Сергеевич! Нам уже ясно, что эта свадьба – крупнейший источник познания жизни для вас!

Критик Самуил Лурье и я попали в энциклопедию. В литературную, естественно, энциклопедию. Лурье на букву Ш — библиография, если не ошибаюсь, к Шефнеру. А я, еще того позорнее, на букву Р — библиография к Розену. Какое убожество.

Позвонили мне как-то из отдела критики «Звезды». Причем сама заведующая Дудко: – Сережа!

– Что вы не звоните?! Что вы не заходите?! Срочно пишите для нас рецензию. С вашей остротой. С вашей наблюдательностью. С вашим

блеском!

Захожу на следующий день в редакцию. Красивая немолодая женщина довольно мрачно спрашивает: – Что вам, собственно, надо?

– Да вот рецензию написать...

– Вы, что, критик?

– Нет.

– Вы думаете, рецензию может написать каждый?

Я удивился и пошел домой.

Через три дня опять звонит:

– Сережа! Что же вы не появляетесь?

Захожу в редакцию. Мрачный вопрос:

– Что вам угодно?

Все это повторялось раз семь. Наконец я почувствовал, что теряю рассудок. Зашел в отдел прозы к Титову. Спрашиваю его: что все это значит?

– Когда ты заходишь? – спрашивает он. – В какие часы?

– Утром. Часов в одиннадцать.

– Ясно. А когда Дудко сама тебе звонит?

– Часа в два. А что?

– Все понятно. Ты являешься, когда она с похмелья – мрачная. А звонит тебе Дудко после обеда. То есть уже будучи в форме. Ты попробуй зайди часа в два.

Я зашел в два.

– А! – закричала Дудко. – Кого я вижу! Сейчас же пишите рецензию. С вашей

наблюдательностью! С вашей остротой...

После этого я лет десять сотрудничал в «Звезде». Однако раньше двух не появлялся.

У поэта Шестинского была такая строчка:

«Она нахмурила свой узенький лобок...»

В Союзе писателей обсуждали роман Ефимова «Зрелища». Все было очень серьезно. Затем неожиданно появился Ляленков и стал всем мешать. Он был пьян. Наконец встал председатель Вахтин и говорит: – Ляленков, перестаньте хулиганить! Если не перестанете, я должен буду вас удалить.

Ляленков в ответ промычал:

– Если я не перестану, то и сам уйду.

Встретил я как-то поэта Шкляринского в импортной зимней куртке на меху.

– Шикарная, – говорю, – куртка.

– Да, – говорит Шкляринский, это мне Виктор Соснора подарил. А я ему – шестьдесят рублей.

Шкляринский работал в отделе пропаганды Лениздата. И довелось ему как-то организовывать выставку книжной продукции. Выставка открылась. Является представитель райкома и говорит: – Что за безобразие?! Почему Ахматова на видном месте? Почему Кукушкин и

Заводчиков в тени?! Убрать! Переменить!..

– Я так был возмущен, – рассказывал Шкляринский, – до предела! Зашел, понимаешь, в уборную. И не выходил оттуда до закрытия.

Прогуливались как-то раз Шкляринский с Дворкиным. Беседовали на всевозможные темы. В том числе и о женщинах. Шкляринский в романтическом духе. А Дворкин – с характерной прямоотой. Шкляринский не выдержал: – Что это ты? Все – трахал, да трахал! Разве нельзя выразиться более прилично?!

– Как?

– Допустим: «Он с ней был». Или: «Они сошлись...»

Прогуливаются дальше. Беседуют. Шкляринский спрашивает:

– Кстати, что за отношения у тебя с Ларисой М.?

– Я с ней был, – ответил Дворкин.

– В смысле – трахал?! – переспросил Шкляринский.

Была такая поэтесса – Грудинина. Написала как-то раз стихи. Среди прочего там говорилось:

*...И Сталин мечтает при жизни
Увидеть огни коммунизма...*

Грудинину вызвали на партсоборание. Спрашивают:

– Что это значит – при жизни? Вы, таким

образом, намекаете, что Сталин может умереть?

Грудинина отвечала:

— Разумеется, Сталин как теоретик марксизма, вождь и учитель народов — бессмертен. Но как живой человек и материалист — он смертен. Физически он может умереть, духовно — никогда!

Грудинину тотчас же выгнали из партии.

Это произошло в Ленинградском Театральном институте. Перед студентами выступал знаменитый французский шансонье Жильбер Беко. Наконец выступление закончилось. Ведущий обратился к студентам: — Задавайте вопросы.

Все молчат.

— Задавайте вопросы артисту.

Молчание.

И тогда находившийся в зале поэт Еремин громко крикнул:

— Келе ре тиль? (Который час?)

Жильбер Беко посмотрел на часы и вежливо ответил:

— Половина шестого.

И не обиделся.

Генрих Сапгир, человек очень талантливый, называл себя «поэтом будущего». Лев Халиф подарил ему свою книгу. Сделал такую надпись: «Поэту будущего от поэта настоящего!»

Роман Симонова: «Мертвыми не рождаются»

Подходит ко мне в Доме творчества Александр Бек:

– Я слышал, вы приобрели роман «Иосиф и его братья» Томаса Манна?

– Да, – говорю, – однако сам еще не прочел.

– Дайте сначала мне. Я скоро уезжаю.

Я дал. Затем подходит Горышин:

– Дайте Томаса Манна почитать. Я возьму у Бека, ладно?

– Ладно.

Затем подходит Раевский. Затем Бартен. И так далее. Роман вернулся месяца через три.

Я стал читать. Страницы (после 9-й) были не разрезаны.

Трудная книга. Но хорошая. Говорят.

Валерий Попов сочинил автошарж. Звучал он так:

Жил-был Валера Попов. И была у Валеры невеста – юная зеленая гусеница. И они каждый день гуляли по бульвару. А прохожие кричали им вслед: – Какая чудесная пара! Ах, Валера Попов и его невеста – юная зеленая гусеница!

Прошло много лет. Однажды Попов вышел на улицу без своей невесты – юной зеленой гусеницы. Прохожие спросили его: – Где же твоя невеста – юная зеленая гусеница?

И тогда Валера ответил:

– Опротивела!

Губарев поспорил с Арьевым:

– Антисоветское произведение, – говорил он, – может быть талантливым. Но может оказаться и бездарным. Бездарное произведение, если даже оно антисоветское, все равно бездарное.

– Бездарное, но родное, – заметил Арьев.

Пришел к нам Арьев. Выпил лишнего. Курил, роняя пепел на брюки.

Мама сказала:

– Андрей, у тебя на ширинке пепел.

Арьев не растерялся:

– Где пепел, там и алмаз!

Арьев говорил:

– В нашу эпоху капитан Лебядкин стал бы майором.

Моя жена спросила Арьева:

– Андрей, я не пойму, ты куришь?

– Понимаешь, – сказал Андрей, – я закуриваю, только когда выпью. А выпиваю я беспрерывно. Поэтому многие ошибочно думают, что я курю.

Чирсков принес в редакцию рукопись.

– Вот, – сказал он редактору, – моя новая

повесть. Пожалуйста, ознакомьтесь. Хотелось бы узнать ваше мнение. Может, надо что-то исправить, переделать?

– Да, да, – задумчиво ответил редактор, – конечно. Переделайте, молодой человек, переделайте.

И протянул Чирскову рукопись обратно.

Беломлинский говорил об Илье Дворкине:

– Илья разговаривает так, будто одновременно какает:

«Зд`оорово! Ст`аарик! К`аак дела? К`аак поживаешь?..»

Слышу от Инги Петкевич:

– Раньше я не подозревала, что ты – агент КГБ.

– Но почему?

– Да как тебе сказать. Явишься, займешь пятерку – вовремя несешь обратно. Странно, думаю, не иначе как подослали.

Однажды меня приняли за Куприна. Дело было так.

Выпил я лишнего. Сел тем не менее в автобус. Еду по делам.

Рядом сидела девушка. И вот я заговорил с ней. Просто чтобы уберечься от распада. И тут автобус наш минует ресторан «Приморский», бывший «Чванова».

Я сказал:

– Любимый ресторан Куприна!

Девушка отодвинулась и говорит:

– Оно и видно, молодой человек. Оно и видно.

Лениздат напечатал книгу о войне. Под одной из фотоиллюстраций значилось:

«Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа, а также гвоздь, которым он ранил фашиста...»

Широко жил партизан Боснюк!

Встретил я однажды поэта Горбовского. Слышу:

– Со мной произошло несчастье. Оставил в такси рукавицы, шарф и пальто. Ну, пальто мне дал Ося Бродский, шарф – Кушнер. А вот рукавиц до сих пор нет.

Тут я вынул свои перчатки и говорю:

– Глеб, возьми.

Лестно оказаться в такой системе – Бродский, Кушнер, Горбовский и я.

На следующий день Горбовский пришел к Битову. Рассказал про утраченную одежду. Кончил так: – Ничего. Пальто мне дал Ося Бродский. Шарф – Кушнер. А перчатки – Миша Барышников.

Горбовский, многодетный отец, рассказывал:

– Иду вечером домой. Смотрю – в грязи

играют дети. Присмотрелся – мои.

Поэт Охапкин надумал жениться. Затем невесту выгнал. Мотивы:

– Она, понимаешь, медленно ходит, а главное – ежедневно жрет!

Битов и Цыбин поссорились в одной компании. Битов говорит:

– Я тебе, сволочь, морду набью!

Цыбин отвечает:

– Это исключено. Потому что я – толстовец. Если ты меня ударишь, я подставлю другую щеку.

Гости слегка успокоились. Видят, что драка едва ли состоится. Вышли курить на балкон.

Вдруг слышал грохот. Забегают в комнату. Видят – на полу лежит окровавленный Битов. А толстовец Цыбин, сидя на Битове верхом, молотит пудовыми кулаками.

В молодости Битов держался агрессивно. Особенно в нетрезвом состоянии. Как-то раз он ударил Вознесенского.

Это был уже не первый случай такого рода. Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела.

И тогда Битов произнес речь. Он сказал:

– Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу, как это случилось, и тогда вы

поймете меня. А следовательно – простите. Потому что я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело.

– Ну, и как было дело? – поинтересовались судьи.

– Дело было так. Захожу в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, – воскликнул Битов, – мог ли я не дать ему по физиономии?!

Явился раз Битов к Голявкину. Тот говорит:

– А, здравствуй, рад тебя видеть.

Затем вынимает из тайника «маленькую».

Битов раскрывает портфель и тоже достает «маленькую».

Голявкин молча прячет свою обратно в тайник.

Михаила Светлова я видел единственный раз. А именно – в буфете Союза писателей на улице Воинова. Его окружала почтительная свита.

Светлов заказывал. Он достал из кармана сотню. То есть дореформенную, внушительных размеров банкноту с изображением Кремля. Он разгладил ее, подмигнул кому-то и говорит: – Ну, что, друзья, пропьем ландшафт?

К Пановой зашел ее лечащий врач – Савелий Дембо. Она сказала мужу:

– Надо, чтобы Дембо выслушал заодно и тебя.

– Зачем, – отмахнулся Давид Яковлевич, – чего ради? С таким же успехом и я могу его выслушать.

Вера Федоровна миролюбиво предложила:

– Ну, так и выслушайте друг друга.

Беседовали мы с Пановой.

– Конечно, – говорю, – я против антисемитизма. Но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские люди.

– Это и есть антисемитизм, – сказала Панова.

– ?

– То, что вы говорите, – это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать ДОСТОЙНЫЕ люди.

Явились к Пановой гости на день рождения. Крупные чиновники Союза писателей. Начальство.

Панова, обращаясь к мужу, сказала:

– Мне кажется, у нас душно.

– Обыкновенный советский воздух, дорогая!

Вечером, навязывая жене кислородную подушку, он твердил:

– Дыши, моя рыбка! Скоро у большевиков весь кислород иссякнет. Будет кругом один углерод.

Был день рождения Веры Пановой. Гостей не приглашали. Собрались близкие родственники и несколько человек обслуги. И я в том числе.

Происходило это за городом, в Доме творчества. Сидим, пьем чай. Атмосфера мрачноватая. Панова болеет.

Вдруг открывается дверь, заходит Федор Абрамов.

– Ой! – говорит. – Как неудобно. У вас тут сборище, а я без приглашения...

Панова говорит:

– Ну, что вы, Федя! Все мы очень рады. Сегодня день моего рождения. Присаживайтесь, гостем будете.

– Ой! – еще больше всполошился Абрамов. – День рождения! А я и не знал! И вот без подарка явился...

Панова:

– Какое это имеет значение?! Садитесь, я очень рада.

Абрамов сел, немного выпил, закусил, разгорячился. Снова выпил. Но водка быстро кончилась.

А мы, значит пьем чай с тортом. Абрамов начинает томиться. Потом вдруг говорит: – Шел час назад мимо гастронома. Возьму, думаю, бутылку «Столичной». Как-никак у Веры Федоровны день рождения...

И Абрамов достает из кармана бутылку водки.

Романс Сергея Вольфа:

*“Я ехала в Детгиз,
я думала – аванс...”*

Вольф говорил:

– Нормально идти в гости, когда зовут. Ужасно идти в гости, когда не зовут. Однако самое лучшее – это когда зовут, а ты не идешь.

Наутро после большой гулянки я заявил Сергею Вольфу:

– Ты ужасно себя вел. Ты матюгался, как сапожник. И к тому же стащил зажигалку у моей приятельницы...

Вольф ответил:

– Матюгаться не буду. Зажигалку верну.

Длуголенский сказал Вольфу:

– Еду в Крым на семинар драматургов.

– Разве ты драматург?

– Конечно, драматург.

– Какой же ты драматург?!

– Я не драматург?!

– Да уж какой там драматург!

– Если я не драматург, кто тогда драматург?

Вольф подумал и тихо говорит:

– Если так, расскажите нам о себе.

Вольф говорит:

– Недавно прочел «Технологию секса». Плохая

книга. Без юмора.

– Что значит – без юмора? Причем тут юмор?

– Сам посуди. Открываю первую страницу, написано – «Введение». Разве так можно?

Пивная на улице Маяковского. Подходит Вольф, спрашивает рубль. Я говорю, что и так мало денег. Вольф не отстает. Наконец я с бранью этот рубль ему протягиваю.

– Не за что! – роняет Вольф и удаляется.

Как-то мы сидели в бане. Вольф и я. Беседовали о литературе.

Я все хвалил американскую прозу. В частности – Апдайка. Вольф долго слушал. Затем встал. Протянул мне таз с водой. Повернулся задницей и говорит: – Обдай-ка!

Писатели Вольф с Длуголенским отправились на рыбалку.

Сняли комнату. Пошли на озеро. Вольф поймал большого судака. Отдал его хозяйке и говорит: – Зажарьте нам этого судака. Поужинаем вместе.

Так и сделали. Поужинали, выпили. Ушли в свой чулан.

Хмурый Вольф говорит Длуголенскому:

– У тебя есть карандаш и бумага?

– Есть.

– Дай.

Вольф порисовал немного и говорит:

– Вот сволочи! Они подали не всего судака. Смотри. Этот фрагмент был. И этот был. А этого не было. Пойду выяснять.

Спрашиваю поэта Наймана:

– Вы с Юрой Каценеленбогеном знакомы?

– С Юрой Каценеленбогеном? Что-то знакомое. Имя Юра мне где-то встречалось. Определенно встречалось. Фамилию Каценеленбоген слышу впервые.

Найман и Губин долго спорили, кто из них более одинок.

Рейн с Вольфом чуть не подрались из-за того, кто опаснее болен. Ну, а Шигашов с Горбовским вообще перестали здороваться. Пospорили о том, кто из них менее вменяемый. То есть менее нормальный.

– Толя, – зову я Наймана, – пойдете в гости к Леве Друскину.

– Не пойду, – говорит, – какой-то он советский.

– То есть, как это советский? Вы ошибаетесь!

– Ну, антисоветский. Какая разница.

Звонит Найману приятельница:

– Толечка, приходите обедать. Возьмите по дороге сардин, таких импортных,